

18+

Иван Обломов

САЙЛАС И ДИ.

Мертвая невеста



Иван Обломов

Сайлас и Ди. Мертвая невеста

«Издательские решения»

Обломов И.

Сайлас и Ди. Мертвая невеста / И. Обломов — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Диана Вуд умирает в первую брачную ночь. Но Сайлас Кейн, последний из Первых, не даёт ей уйти навсегда. Вдвоём они объявляют войну Церкви, аристократии и системе, где женщина — товар, а вера — инструмент власти. Но инквизитор Константин идёт по следу, а Прелат готовит костёр. Готический роман о любви, боли и возмездии. О девушке, которая стала Госпожой. О монстрах в рясах и святых с клыками. О правде, которую слишком долго скрывали. И о пепле, из которого ещё можно воскреснуть.

© Обломов И.

© Издательские решения

Содержание

Ночь	6
День белого платья	8
Ночь между	11
День первой ночи	13
Ночь первой ночи	16
День после первой ночи	19
Ночь Мёртвой невесты	23
День пропажи	26
Ночь трансформации	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Сайлас и Ди Мертвая невеста

Иван Обломов

Оформление обложки нейросеть Шедеврум (YandexART 2.5 Pro)

© Иван Обломов, 2026

ISBN 978-5-0070-3129-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ночь

Ночь приходила в город медленно, как вода в трюм, — сперва едва заметно, затем всё разом. Она выползала из переулков Нижнего города, заливала подворотни, тушила последние окна в домах ремесленников и торговцев. В Верхнем городе, за каменной стеной, ещё горели факелы — там, где дворцы знати лепились к опоясывающей Собор стеной, как моллюски к днищу корабля. Там ночь никогда не наступала полностью: стража жгла огонь, священники служили вечернюю мессу, красные плащи обходили галереи. Но здесь, внизу, на узких улочках, где даже электрические фонари горели через один, тьма была полновластной хозяйкой.

Сайлас Кейн шёл сквозь неё, как нож сквозь воду.

Высокий, узкий силуэт в чёрном плаще до земли. Капюшон надвинут низко — лица не разглядеть, только прядь мокрых волос вдоль щеки. Под плащом, у левого бока, тяжестью покоился «Дезерт Игл». Крупный ствол, оттягивающий пояс, — оружие, которое он не собирался доставать этой ночью, но без которого не выходил уже много лет. Привычка. Или инстинкт. Или и то и другое.

Пахло сыростью, угольной гарью и дохлой рыбой с ночного рынка. Где-то капала вода с карниза. Где-то перекликались пьяные голоса. Из распахнутой двери трактира «Три свечи» выплеснулся жёлтый электрический свет и обрывок музыки — внутри играло радио, передавали вечернюю сводку:

— В Верхнем городе усилены патрули. Комендантский час пока не введён.

Сайлас прошёл мимо, не повернув головы.

На перекрёстке он остановился.

Впереди, в конце улицы, маячили три фигуры в серых рясах. Патруль пешек. Лица скрыты простыми масками — не гладкий фарфор Красных плащей, не гранёная сталь палачей, а дешёвая кожа с прорезями для глаз. Они стояли у фонаря и о чём-то негромко переговаривались. Сайлас отступил в тень арки, и тень приняла его как своего. Пешки не заметили. Они никогда не замечали. Через минуту патруль двинулся дальше, и улица снова опустела.

Он выждал ещё минуту и пошёл дальше.

Завтра.

«Она наденет белое платье».

Он не видел этого платья, но знал: тяжёлое, с глухим воротом, с рукавом до запястья — чтобы скрыть синяки, которых ещё не было, но которые обязательно будут. Её отец договорился с семьёй жениха. Ударили по рукам. Скрепили печатями. Благословили в Соборе, не спросив ни слова у той, кого благословляли. Сайлас знал эту систему. Знал, как она работает: женщина — товар, брак — сделка, а любовь — помеха, которую следует удалить.

Он сжал кулак в кармане плаща.

Сырость пробирала до костей, но он не чувствовал холода. Он помнил её запах. Не духи. Не цветы. Тёплый запах кожи под ухом, там, где волосы встречаются с шеей. Она клала голову ему на плечо, и мир на секунду переставал быть миром — грязным, громким, чужим. Она смеялась тихо, одними уголками губ. Спрашивала:

— Ты останешься?

И он отвечал:

— Да.

«Больше не останется».

Она просила его не приходить. Сказала:

— Если ты появишься, они убьют тебя. Или меня. Или сначала тебя, а потом меня.

Он знал, что она права. Знал, что система пережует и выплюнет, не поперхнувшись. Достаточно было посмотреть на стену Верхнего города, на шпиль Собора, чтобы понять: эта машина работала столетиями. Задолго до него. Задолго до неё. И будет работать после.

Он поднял голову.

В конце улицы, над крышами, над мокрым камнем и спящей грязью Нижнего города, возвышался шпиль Собора. Чёрный на фоне чёрного неба. Там, внутри, уже готовили алтарь для завтрашней службы. Уже вешали цветы. Уже зажигали свечи. Там её поставят перед другим. Она скажет «да», потому что у неё нет выбора. А за стенами Собора, в подземных ярусах, в криптах и пыточных, ждали те, кто не говорил «да». Кто вообще ничего не говорил.

Сайлас знал, как пахнет крипта. Знал, как звучит шаг палача по каменному полу. И он знал, что если завтра он появится в церкви, то очень скоро окажется там.

Он выдохнул. Медленно. Холодно.

Табачный дым смешался с сыростью и исчез. Он свернул в переулок, где фонарь не горел уже много лет. Тень приняла его. Капюшон скрыл глаза. Плащ слился с мокрой стеной.

Где-то далеко, за много кварталов отсюда, в доме у внешнего края кольца знати, где окна ещё светились, девушка смотрела на белое платье. И не плакала. Потому что слёз не осталось.

Сайлас Кейн растворился в ночи. Завтра он всё равно придёт. Не для того, чтобы сорвать церемонию. А для того, чтобы увидеть её в последний раз. Или в предпоследний — этого он тогда ещё не знал.

День белого платья

Солнце светило сквозь кружевные занавески, и в этом свете пылинки висели неподвижно, как золотая взвесь. Диана Вуд стояла перед зеркалом. Платье уже надели — мать и две служанки затянули шнуровку, расправили складки, отступили на шаг полюбоваться. Мать улыбалась. Служанки перешёптывались о том, какая красавица. Диана смотрела на своё отражение и не узнавала его.

Дом Вудов стоял у внешнего края кольца знати — приличный, но без претензий на роскошь. Её отец торговал тканями, держал три лавки в Нижнем городе и мечтал о четвёртой. Брак с семьёй Харрисонов, у которых были деньги и связи, стал его главной сделкой. То, что Диана любила другого, не имело значения. То, что она плакала, когда отец объявил о помолвке, — тем более.

— Полюбится, — сказал он тогда и вышел из комнаты, оставив её одну с матерью, которая гладила её по голове и шептала: — Так надо, милая. Так у всех. Привыкнешь.

Белое матовое платье облегло фигуру, как чужая кожа. Лиф сидел плотно, не оставляя ни сантиметра свободы, декольте закрывало ключицы — скромно, прилично, как велели. Длинные узкие рукава сжимали руки. Юбка спускалась до пола прямым карандашом до колена и только ниже мягко расходилась клёшем. Никакого разреза. Никакой вульгарности. Красиво. Безупречно. Чужое.

Она опустила руку и коснулась подола. Там, в потайном шве, был зашит маленький пузырёк. Никто не знал. Никто не должен был знать. «Это единственное, что принадлежит мне в этом наряде».

— Ты прекрасна, — сказала мать. — Жених будет счастлив.

Диана не ответила. Она смотрела в окно, где за цветущим садом собирались гости. Их смех долетал сквозь стекло — лёгкий, беззаботный, как будто сегодня и правда был праздник. Сад был небольшим, но ухоженным — гордость матери, которая сама возилась с клумбами. За садом, за кованой оградой, начиналась улица, ведущая к центру города. «Если долго идти по ней, можно выйти к главной оси, а по ней — к стене Верхнего города и шпилю Собора».

Диана думала не о Соборе. Она думала о нём.

Она перевела взгляд на свою руку. На безымянном пальце уже сидело кольцо — надетое заранее, чтобы не возиться в церкви. Чужое. Холодное. Оно давило, хотя было впору. Она хотела снять его. Пальцы дёрнулись, но мать перехватила взгляд и покачала головой, и рука замерла.

— Не сейчас, — сказала мать. — Не сегодня.

«Не сегодня. Сегодня я должна быть счастливой. Должна». Внутри была только пустота.

Карета ждала у крыльца. Чёрная, с гербом Харрисонов на дверце — скрещённые дубовые ветви и девиз «Корнями крепки». Диана села внутрь, мать — рядом, отец — напротив. Он

уже был в парадном сюртуке, раскрасневшийся от важности момента. Всю дорогу он говорил о будущем: о внуках, о расширении дела, о том, как удачно всё сложилось. Диана смотрела в окно.

Карета катила по главной улице — широкой, мощёной, прямой, как стрела. По обе стороны тянулись дома: сперва богатые особняки с балконами и гербами, затем — лавки, конторы, меняльные конторы, трактиры. Улица прорезала город насквозь, от стены Верхнего города до внешних ворот. Днём здесь былолюдно: торговцы, чиновники, служанки с корзинами, патрули пешек в серых рясах. Пешки шли парами, молча, маски скрывали лица. Никто не обращал на них внимания. Все привыкли.

«Знают ли они, что такое любовь? Имеют ли право снять маску? Или под ней — такая же пустота, как у меня внутри?»

Церковь Святого Себастьяна стояла в стороне от главной улицы, но всё же внутри кольца знати — приход для приличных семей. Высокие витражи, каменные своды, статуи святых в нишах. Святые смотрели на прихожан вытянутыми лицами — строгие, бесплотные, нечеловечески прекрасные. Их глаза были пустыми, но почему-то казалось, что они видят всё. Диана в детстве боялась этих статуй. Сегодня она им завидовала. «Каменным не больно».

Гости уже расселись. Жених — Ричард Харрисон, молодой, румяный, в новом сюртуке — стоял у алтаря и улыбался. Он был хороший. Добрый. Надёжный. Она знала его год — достаточно, чтобы понимать: он не сделает ей больно нарочно. «Он просто не знал, что любовь бывает другой. Что женщина может не хотеть. Что „да“ — это не всегда „да“».

Священник — отец Доминик, пожилой, с лицом человека, который давно не задаёт вопросов, — монотонно читал молитву. Диана не слышала слов. Она шла по проходу, и белое платье тянулось по каменному полу. Каждый шаг отдавался эхом от сводов. Свечи горели. Святые смотрели. Где-то в тени колонны стоял тот, кого она любила.

Она подняла глаза.

Он был там. Сайлас Кейн. Чёрный плащ, капюшон, лицо скрыто. Но она знала каждую линию его силуэта. Знала, как он стоит, как дышит, как смотрит. «Он не должен был приходить. Я просила его не приходить. Он всё равно пришёл».

Их взгляды встретились.

Мир сузился до этой секунды. До тени у колонны. «Я хочу сорваться. Бросить всё. Побегать к нему — через ряды скамей, через гостей, через белое платье, которое стало бы грязным, рваным, но свободным».

Она отвела взгляд.

«Потому что если я посмотрю ещё раз, я уйду. А он погибнет. Инквизиция не прощает. Система не отпускает. И я сломаю не только себя — я сломаю его».

Она сделала ещё шаг. Затем ещё один. Платье шуршало. Свечи мерцали. Где-то позади мать всхлипывала от умиления.

Когда она снова подняла глаза, его уже не было. Только пустая тень на стене. «Она приняла его обратно».

Священник произнёс слова. Она не слышала их. Она кивнула. Сказала «да». «Мой голос прозвучал чужим. Будто это говорила не я, а кто-то другой. Кто-то, кого я не знала и не хотела знать».

Чужой поцелуй коснулся её губ. Холодный. Быстрый. Приличный.

Гости аплодировали. Мать плакала. Отец сиял. Ричард Харрисон сжимал её руку, и кольцо впивалось в кожу, как зубец капкана.

Белое платье. Кольцо. Улыбки. Чужой поцелуй.

«Внутри — пустота. Холод. И одно-единственное желание: сбежать».

Но она осталась. Потому что так надо. Потому что иначе нельзя. Потому что она, Диана Вуд, теперь стала Дианой Харрисон, и этот факт был записан в церковной книге, заверен печатью и скреплён перед Богом и людьми.

Ночь между

Церемония закончилась. Сайлас видел, как она сказала «да» — тихо, чужим голосом, глядя не на жениха, а в пустоту. Он стоял в тени колонны, сжимая кулаки, и ничего не сделал. Потому что она просила. Потому что любое вмешательство погубило бы её быстрее, чем яд в подоле.

Он вышел через боковую дверь и направился к Импале, припаркованной в переулке. Сел за руль. Двигатель взревел. Дождь заливал ветровое стекло. Он не включил дворники. «Пусть льёт».

Он выжал сцепление и выехал на главную улицу.

Город готовился ко сну. Редкие прохожие жались к стенам домов, прячась от дождя. Фонари горели через один — электрические, но тусклые, как будто само электричество здесь было не в чести. В Верхнем городе фонарей не было вовсе, только факелы на стене. Сайлас ехал медленно, не потому что осторожничал, а потому что ночь не требовала спешки.

На пересечении с главной улицей из бокового проезда выехала карета.

Она была огромной. Чёрное лакированное дерево, кованые вензеля на дверцах, герб с дубовыми ветвями. Но сильнее всего впечатляли кони. Четверо вороных жеребцов, закованных в тяжёлую церемониальную броню. Чёрные матовые пластины закрывали грудь и шею, ложась внахлест, как чешуя. На головах — металлические налобники с узкими прорезями, отчего кони казались слепыми. С налобников свисали длинные султаны из конского волоса, намокшие от дождя и похожие на траурные ленты. При каждом шаге броня лязгала, как доспех палача. На козлах сидел кучер в длинном плаще и высоком цилиндре — прямой, как надгробный камень.

Сайлас смотрел на эту процессию, и что-то внутри него сжималось. Не гнев — память. «Когда-то на месте этой улицы не было ни брусчатки, ни фонарей, ни стен. Был лес. Густой, древний лес, в котором мой народ — Первые — жил под звёздами. Мы не строили карет и не заковывали коней в броню. Мы ходили пешком. Звёзды указывали нам путь».

Теперь на месте леса вырос Верхний город. Там жгли факелы, строили храмы и запрягали коней в доспехи, похожие на те, что носили палачи. Карета с гербом была не просто транспортом — она была символом всего, что пришло на смену его миру. Церковь. Знать. Сделки, в которых женщина — товар. «Я не выбирал эту эпоху. Я был старше её».

— Дорогу! — крикнул кучер.

Сайлас не уступил.

Импала поравнялась с каретой и пошла бок о бок. В свете фонаря кучер разглядел номерной знак — три шестёрки, завершавшиеся буквами, и побледнел. Он дёрнул вожжи, но было поздно. Кони забеспокоились — сначала один, потом остальные. Броня залязгала громче. Кучер обернулся и увидел чёрный автомобиль, скользящий рядом, как акула. Его лицо искалось.

— Дорогу, я сказал! Именем...

Сайлас посмотрел на него. Один короткий взгляд. Кучер осёкся. Слова застряли у него в горле. Импала рванула вперёд, и номер V666AD скрылся в дожде. Кони шарахнулись, карета вильнула, кучер вцепился в вожжи. Сайлас не обернулся. Он вёл машину в ночь, и в зеркале заднего вида удалялась похоронная процессия старого мира. А впереди была только дорога. И где-то в особняке Харрисонов Диана, ещё живая, сидела за пиршественным столом и слушала тосты о будущем, которого у неё не было. «Она чувствовала яд в подоле. Она знала, что он там. И она знала, что я где-то рядом».

Это была их последняя ночь, когда они оба были ещё в этом городе — он живой, она смертная. Завтра всё изменится. Но пока шёл дождь, и Сайлас вёл Импалу сквозь ночь, и звёзды прятались за тучами, как будто боялись смотреть вниз.

День первой ночи

Зал гудел. Свадебный пир накрыли в особняке Харрисонов — длинные столы, белые скатерти, золотые канделябры. Особняк стоял в кольце знати, почти у самой стены Верхнего города: высокие окна, мраморные полы, фамильные портреты на стенах. Харрисоны гордились своим положением и не упускали случая его подчеркнуть. Слуги сновали между гостями, разнося блюда и подливая вино. Цветы, запах жареного мяса, смех. Всё как надо. Всё как у всех.

Диану посадили во главе стола. Не как хозяйку — как украшение. Она сидела, выпрямив спину, положив руки на колени, и смотрела перед собой. Еда на её тарелке стыла. Вино в бокале не убывало. Она чувствовала каждый шов на платье, каждый взгляд, каждое слово, долетавшее сквозь гул голосов.

Первый тост поднял отец жениха — седой, грузный мужчина с лицом человека, который привык, что его слушают. Он говорил о союзе родов, о землях, о будущем. О том, что их семьи теперь связаны навеки перед Богом и людьми. Он не сказал ни слова о любви. Никто не заметил.

— Хорошую жену взял, — сказал кто-то из гостей, и Ричард кивнул, принимая похвалу, как принимают поздравление с удачной покупкой.

Диана слышала это. Слышала, как обсуждали её приданое — три лавки отца, доход с которых теперь переходил Харрисонам. Как тётушка жениха шепнула соседке:

— Тихая, скромная — это хорошо. Меньше проблем.

Как её собственный отец, раскрасневшийся от вина, хлопал Ричарда по плечу и называл его «сынок» с такой гордостью, будто продал товар по лучшей цене в округе.

Слуги меняли блюда. Гусь, запечённый с яблоками. Форель в сливочном соусе. Сладости из кондитерской на главной улице. Вино лилось рекой. За окнами сгущались сумерки, и слуги зажигали свечи — одну за другой, и зал наполнялся дрожащим золотым светом. Диана смотрела на огонь и думала о том, что пламя — это тоже смерть. Медленная, красивая, неизбежная.

Ричард сидел рядом. Он был доволен. Хорошо поел, много выпил, принимал поздравления с видом человека, который получил то, что хотел. Иногда он клал руку ей на запястье, и она не отдёргивала её. Просто ждала, пока он уберёт. Его пальцы были тёплыми и влажными. От него пахло вином и потом. «Другие пальцы. Сухие, холодные, осторожные. Не сейчас. Ещё не время».

— Ты счастлива? — спросил Ричард негромко, наклонившись к ней.

Она подняла на него глаза. Он спрашивал без подвоха. Ему правда было интересно. «Он не понимает».

— Да, — сказала она. — Конечно.

Он улыбнулся и отвернулся к соседу слева. Она снова уставилась в тарелку.

Свечи оплывали. Гости пьянели. Где-то в углу уже пели непристойную песню — мужской хор, фальшивый и громкий. Мать плакала от счастья, вытирая глаза платком. Отец Харрисон говорил тост за будущих наследников — и зал взревел, поднимая кубки.

— За продолжение рода! За крепкую кровь! За Харрисонов!

Диана закрыла глаза.

«Другое лицо рядом. Другой голос. Другая рука на запястье — та, что не давит, а просто держит. Встать из-за стола и уйти. Просто уйти — через зал, через смех и улюлюканье, прочь из этого дома». Но это была фантазия. Она знала, что никуда не уйдёт.

Она открыла глаза. И ничего не сделала.

«Потому что так надо. Потому что иначе нельзя. Потому что я не знаю, как по-другому».

За окнами совсем стемнело. Где-то далеко, на стене Верхнего города, зажглись факелы. Патрули пешек вышли на ночной обход. Красные плащи, возможно, уже совещались в кельях Собора. А здесь, в особняке Харрисонов, праздник подходил к концу.

Ричард поднялся и протянул ей руку.

— Пора, — сказал он.

Гости заулюлюкали, засвистели, кто-то крикнул пошлость про первую брачную ночь. Ричард рассмеялся, пьяно и довольнo. Диана вложила свою ладонь в его и встала. Платье зашуршало. Пузырёк в подоле качнулся — крошечный груз у бедра. «Мой последний союзник».

Она шла за мужем через зал, через смех и поздравления, через запах вина и жареного мяса. Лестница. Мраморные ступени, ковровая дорожка. Коридор. Портреты предков — суровые лица, сжатые губы, мёртвые глаза. Они смотрели на неё и молчали.

Дверь спальни.

— Иди, — сказал Ричард, пропуская её вперёд. — Я сейчас.

Она вошла. Дверь за ней закрылась. Она осталась одна в большой комнате с широкой кроватью, застеленной белым. Свечи уже горели — слуги позаботились. Белые простыни, белые подушки, белый балдахин. «Ещё один алтарь».

Диана подошла к окну. За стеклом сгущалась ночь. Где-то вдали горели факелы на стене Верхнего города. Где-то в переулках Нижнего города патрули пешек обходили свои маршруты. А здесь, в особняке Харрисонов, было тихо.

За спиной открылась дверь. Вошёл Ричард.

«Не оборачивайся. Пузырёк всё ещё там. В подоле. Маленький, стеклянный, тёплый от моего тела».

Дверь закрылась. Щелчок засова прозвучал как выстрел. Ричард подошёл и положил руки ей на плечи. Тяжёлые, горячие, уверенные в своём праве.

— Ну вот мы и одни, — сказал он.

Диана закрыла глаза. И начала считать. Про себя. Медленно. «Раз. Два. Три...»

«Я досчитаю до конца. Какой бы он ни был».

Ночь первой ночи

Он сказал это без зла. Он был доволен. Пир удался, гости разъехались, жена стояла перед ним в белом платье, и всё шло как надо. Завтра он проснётся хозяином этого дома, этого тела, этой жизни. А пока он хотел получить то, что купил. Так учил его отец. Так учили всех мужчин в этой семье. Жена — не партнёр, не спутница, а приобретение. Красивое, дорогое, которое нужно освоить в первую же ночь, чтобы закрепить право владения.

Она не двигалась. Он истолковал это как стеснительность и усмехнулся. Пальцы пробежали по её плечам, по шее, коснулись застёжки платья. Она вздрогнула — не от холода. Он не заметил.

— Не бойся, — сказал он. — Это не больно. В первый раз все боятся. Потом привыкнешь.

Она закрыла глаза. «Привыкнешь». Это слово резануло хуже ножа. «Каждую ночь. Каждую неделю. Каждый год. Его руки на моём теле, его дыхание на моей щеке, его голос: „Ты моя“». Она поняла, что не хочет привыкать. Не хочет жить.

Он развернул её к себе. Она не сопротивлялась. Не отвечала на поцелуй. Он не придал значения. Он был слишком пьян и слишком уверен, чтобы заметить разницу между стеснением и отвращением. Его руки шарили по её телу неуклюже, торопливо. Белое платье затрещало по швам.

Он опрокинул её на кровать. Белые простыни смялись. Белый балдахин качнулся. Она смотрела в потолок и считала трещины в штукатурке. Раз. Два. Три. Где-то на седьмой трещине она перестала чувствовать. Где-то на десятой он закончил.

Ричард отстранился. Тяжело дыша. Приподнялся на локте, посмотрел на неё — разорванное платье, пустые глаза, ни слезинки. Потом перевёл взгляд на простыни.

Белые. Чистые. Ни капли крови.

Он моргнул. Пьяный мозг ворочался медленно, как жернов. Невинная девушка должна оставить след. Ему так говорили. Отец говорил. Дядя говорили. Все говорили. Он смотрел на белые простыни и не видел того, что должен был увидеть. И тогда до него дошло.

— Давно? — спросил он.

Она не ответила.

— Я спрашиваю — давно ты не девица?

Тишина. За окном прокричала ночная птица. Где-то далеко, в Нижнем городе, патруль пешек простучал сапогами по мостовой — размеренный, равнодушный ритм. В Верхнем городе горели факелы на стене. В Соборе, возможно, ещё шла вечерняя месса. А здесь, в белой спальне особняка Харрисонов, время остановилось.

Ричард схватил её за запястье и рванул к себе. Она не сопротивлялась. Он смотрел на неё так, как смотрят на вещь, которая оказалась с браком. Цена была заплачена. Договорённости соблюдены. А товар — порченный.

— Я столько за тебя заплатил, — проговорил он медленно, и голос его был уже не удивлённым. Злым. Холодным. — Твой отец клялся. Мать клялась. Священник благословил. А ты...

Он не договорил. Ударил её по лицу. Тыльной стороной ладони, коротко, без замаха — как бьют провинившуюся собаку.

Она отшатнулась, схватилась за край стола. Платье затрещало — тонкая ткань на плече разошлась по шву. Свеча на столе покачнулась, но устояла. Она не закричала. Просто смотрела на него, и в голове у неё стучало одно: «Не называй имени. Не называй имени».

— Кто? — спросил он. — Кто был до меня?

Она молчала. Он ударил снова — на этот раз в живот. Она согнулась, воздух вышел из лёгких, перед глазами поплыли круги. Яд в подоле качнулся у бедра — крошечный стеклянный шёпот. «Ещё не время».

— Мне плевать, — сказал он, хотя было видно, что не плевать. — Ты моя. Была чьей-то, теперь моя. И ты запомнишь это.

Он схватил её за волосы и снова швырнул на кровать. На этот раз он не был пьяным мужем, исполняющим долг. Он был хозяином, наказывающим рабыню. Второй раз был хуже первого — осознаннее, злее, беспощаднее.

Когда он закончил, он встал. Тяжело дыша. Посмотрел на неё — разорванную, неподвижную, с кровью на губе и пустотой в глазах — и отвернулся. Пробормотал что-то про то, что завтра она скажет имя. Что завтра она ответит за всё. Потом рухнул на край кровати и через минуту уже храпел.

Тишина вернулась.

Диана лежала и слушала. Храп мужа — ровный, пьяный, спокойный. Шаги ночного патруля за окном — пешки уходили дальше, в соседний квартал. Далёкий звон колокола — не набат, а размеренный полуночный перезвон из Собора. Город жил своей жизнью. Городу было всё равно.

«Сайлас. Он касался меня не так. Совсем не так. Спрашивал, а не требовал. Ждал ответа, а не брал без спроса. Где он сейчас? Стоит под дождём? Смотрит на шпиль Собора? Или уже знает? Почувствовал?»

Она не знала. Но мысль о нём была единственным, что ещё держало её в этом теле.

Потом она подумала о завтрашнем дне. О том, что Ричард проснётся. О том, что потребует имя. О том, что будет бить, пока она не

скажет. Или не будет бить — просто пообещает найти того, другого, и убить. И она будет жить с этим. Год. Десять лет. Всю жизнь.

Она села. Тело отозвалось болью в рёбрах, в запястьях, в низу живота. Она не обратила внимания. Рука сама нашла разрыв в подоле. Пальцы проникли в потайной шов. Пузырёк был тёплым — она носила его с утра, и он нагрелся от её тела.

Она вытащила его. Маленький. Стекланный. С тёмной жидкостью внутри. Посмотрела на мужа — тот спал, отвернувшись к стене. Посмотрела на портреты Харрисонов за дверью — они молчали. Посмотрела в окно, где далеко-далеко, на холме, темнел шпиль Собора. «Прости». Не мужу. Ему. «Как странно. Самый свободный поступок в моей жизни — это этот».

И выпила.

Жидкость была горькой. Она закашлялась, прижала ладонь ко рту, заставила себя проглотить. Пузырёк выпал из пальцев и покатился по полу, замер у ножки кровати.

Она легла. Белое платье — разорванное, окровавленное, с пустым потайным швом — облегалo её, как саван. Боль уходила. Не та боль, что от ударов. Другая. Та, что сидела внутри с того дня, как отец сказал: «Ты выйдешь за него».

Сердце замедлилось. Дыхание стало мелким. Она смотрела в потолок и считала трещины — теперь уже не от боли, а от усталости. Раз. Два. Три.

На четвёртой она закрыла глаза.

За окном шёл дождь. Муж храпел. Свеча догорала, и воск капал на мраморный пол.

А где-то далеко, на мокрой улице, человек в чёрном плаще поднял голову, будто услышал что-то. Будто кто-то позвал его по имени. И замер, прислушиваясь к тишине.

День после первой ночи

Ричард Харрисон проснулся от того, что в комнате было слишком тихо.

За окном занимался серый рассвет. Дождь кончился, но небо оставалось тяжёлым, набухшим, как синяк. Свет сочился сквозь занавеси — жидкий, болезненный, точно разбавленное молоко. Он сел на кровати, поморщился от головной боли — вчерашнее вино ещё бродило в крови, — и посмотрел на жену.

Она лежала на спине. Белое платье было разорвано у плеча и на груди. На губе запеклась тёмная полоска. Одна рука свесилась с кровати, пальцы касались пола — там, где под кроватью, у самой ножки, лежал маленький стеклянный пузырёк. Лицо было спокойным. Слишком спокойным.

— Эй, — сказал он.

Она не ответила. Он тронул её за плечо — холодное. Отдёрнул руку. Паника поднялась в груди быстро, как рвота. Он вскочил, отшатнулся, ударился спиной о стол. Свеча, догоревшая до основания, покачнулась и упала. Он схватился за край стола, пытаясь удержать равновесие и рассудок одновременно.

«Она мертва. В моей постели. В первое утро после свадьбы».

Он не закричал. Крик пришёл позже — не его, а служанки, которую он вызвал, дёрнув шнурок колокольчика. Та заголосила, выронила поднос с завтраком, бросилась вон. Её топот эхом разнёсся по мраморным коридорам. Через десять минут в спальне уже стояли его отец, мать и двое дядьёв.

Отец — Говард Харрисон, седой, грузный, с лицом, не выражавшим ничего, кроме холодного расчёта, — закрыл дверь и задвинул засов.

— Заткните бабу, — сказал он коротко. Не сыну. В коридор, где всё ещё голосила служанка. Дверь закрыли. Засов задвинули.

Говард осмотрел тело. Приподнял веко — стеклянный взгляд. Посмотрел на синяки на запястьях, на разорванное платье, на сына, который стоял бледный, с трясущимися руками.

— Ты её бил?

— Она была не... — начал Ричард и осёкся.

— Это я уже понял. Ты её бил?

— Немного. Я не хотел...

— Ладно. Это не важно. Она сама?

Ричард не ответил. Говард нагнулся, кряхтя, и поднял с пола пузырёк. Маленький, стеклянный, с остатками тёмной жидкости на донышке. Поднёс к свету. Понюхал. Протянул сыну. Тот посмотрел и не понял. Потом понял.

— Яд, — сказал он.

— Яд, — подтвердил отец. — Самоубийство. В твоём доме. В твоей постели. Поздравляю.

Повисла тишина. Один из дядёв кашлянул. Мать — пожилая женщина с уложенными в высокую причёску седыми волосами — заплакала. Не по Диане. От страха. Скандал. Позор. Самоубийц не отпевают. Их хоронят за оградой кладбища, без креста, без имени. Репутация семьи, союз родов, будущее — всё рушилось в одну секунду.

— Священника, — сказал Говард. — Отца Лоренцо. Быстро.

Отец Лоренцо прибыл через два часа. Он вошёл в особняк Харрисонов так, как входил в десятки других домов до этого — спокойно, деловито, с выражением лица, которое ничего не выражало. Сухой, как старая ветка, в тёмной рясе, с чётками на поясе. «Я не злой человек. Я просто давно перестал делить поступки на хорошие и плохие. Есть то, за что платят. И то, за что не платят».

Ему показали тело. Он осмотрел его без лишних эмоций — приподнял веко, отметил синяки, разорванное платье. Задал только один вопрос:

— Кто ещё знает?

— Служанка, — ответил Говард. — Но она будет молчать. Я заплачу.

Ему показали деньги. Тяжёлый кошель бархата, туго набитый золотыми монетами. Отец Лоренцо посмотрел на первое. Потом на второе. Кивнул.

— Несчастный случай, — сказал он ровным голосом. — Внезапный недуг. Сердечная слабость. Девица была хрупкого здоровья. Все знали.

— Все знали, — повторил Говард.

— Я договорюсь с церковью. Тело нужно перенести сегодня. Отпевание завтра. Хоронить будем в семейном склепе Харрисонов. Всё по обряду.

Он не спросил, от чего она умерла на самом деле. Не спросил, кто её бил. Его взгляд на секунду задержался на разорванном платье, но тут же скользнул дальше, к кошельку, который Говард уже протягивал. Священник взял деньги. Пересчитал. Убрал в складки рясы.

— Да поможет Господь её душе, — сказал он без выражения.

«Это не молитва. Это квитанция».

К вечеру тело Дианы перенесли в маленькую церковь на окраине города — церковь Святого Марка. Не в ту, где венчали. Та, с витражами и статуями святых, была слишком на виду. Святой Марк стоял на холме за городской чертой, старый, замшелый, с покосившимся крестом на шпиле. Сюда привозили тех, кого не хотели хоронить в центре: бедняков, самоубийц, неугодных. Здесь служил отец Лоренцо — и никого больше. Даже пешки инквизиции обходили это место стороной: слишком далеко, слишком грязно, слишком много слухов.

Внутри пахло плесенью, старым воском и чем-то сладковатым — то ли ладаном, то ли тлением. Витражи потускнели от времени. Статуя святого Марка в нише у алтаря покрылась трещинами, и сквозь них проступал тёмный камень. Свечи горели только у алтаря.

Перед тем как уложить тело, две старухи из прихода переодели покойную. Они работали молча и сноровисто — не в первый раз. Белое платье сняли: разорванное, испачканное, с пустым потайным швом в подоле. Одна из старух — худая, с костлявыми пальцами — задержала на этом шве взгляд. Ничего не сказала. Но губы поджала.

— Бедняжка, — прошептала вторая. — Молодая совсем.

— Молодая, — эхом отозвалась первая. — А синяков-то сколько.

— Муж?

— А кто ж ещё.

Они перекрестились и продолжили работу. Вместо белого платья на Диану надели чёрное погребальное. Простое, закрытое, глухой ворот до подбородка, длинные рукава, никаких украшений. Ткань матовая, без блеска. Платье скромной покойницы, невесты Христовой, уходящей в землю.

Её положили на алтарь. Руки сложили на груди. Волосы расправили по плечам. Кровь на щеке кто-то попытался стереть, но тонкая полоска всё равно осталась. Как порез на старом зеркале.

Отец Лоренцо зажёл свечи. Прочитал короткую молитву — на латыни, сухо, без интонации. Перекрестился. Посмотрел на мёртвую девушку, которая лежала перед ним. «Она была красивой. Был бы я моложе — может, и пожалел бы».

Он не жалел.

Он запер дверь и ушёл.

Ночью начался дождь. Капли стучали по крыше. Свечи дрожали. Диана лежала на алтаре в чёрном платье, и тени от витражей падали на её лицо, как разноцветные синяки.

Где-то далеко, в переулке Нижнего города, Сайлас Кейн остановился. До него только что долетел слух — обрывок разговора двух пьяных купцов: «...молодая жена... в первую же ночь... говорят, сердечная слабость...»

Он замер.

Дождь стучал по капюшону. Рука сама сжалась в кулак. Он постоял так с минуту, глядя в стену, не видя её. Потом развернулся и быстрым шагом пошёл прочь — не к церкви, а в противоположную сторону. Туда, где в тени старой арки, прижавшись к стене, ждала чёрная Импала. «Она понадобится. Обратно я пойду не один».

Двигатель взревел. Фары вспыхнули, разрезая дождь. Чёрная машина сорвалась с места и понеслась сквозь узкие улочки Нижнего города — к окраине, к старой церкви, к той, про которую никто не говорил вслух, но которую все знали. Туда, где хоронили тех, кого нельзя хоронить.

Ночь Мёртвой невесты

Старая церковь стояла на холме за городской чертой — туда, где мощёная главная улица переходила в разбитую дорогу, а фонари кончались, уступая место тьме. Чёрные стены, острые шпили, покосившийся крест. Вокруг теснилось кладбище — неровные ряды надгробий, скобоченные памятники, могилы без имён. Здесь хоронили тех, кого не ждали в освящённой земле Верхнего города: бедняков, самоубийц, бродяг. Святой Марк принимал всех — не из милосердия, а потому что никому больше не было дела.

Сайлас Кейн слышал звон колокола, когда заглушил двигатель. Низкий, медленный, тяжёлый — не праздничный перезвон, а похоронный набат. Он вышел из машины. Фары погасли. Импала замерла у подножия холма, прижавшись чёрным боком к замшелому камню. Дождь моросил, как и в прошлую ночь, и в позапрошлую, и все ночи до этого. Капюшон намок мгновенно. Он не замечал.

Он поднялся по скользкой тропе, прошёл мимо покосившихся крестов. Ворона на надгробии проводила его взглядом и не шелохнулась. Церковь встретила его запахом плесени, старого воска и чем-то сладковатым — не то ладаном, не то тлением. Дверь была заперта. Он выбил её плечом — раз, другой, и старый засов поддался с глухим стоном. Дверь повисла на одной петле.

Внутри было темно.

Высокие сводчатые потолки тонули во мраке. Витражи — когда-то цветные, теперь пыльные и тусклые — не пропускали свет луны. Свечи горели только у алтаря, и их пламя металось на сквозняке, как испуганная птица. Тени плясали на стенах. В нише, где стояла статуя Святого Марка, темнели трещины, и казалось, что каменный святой щурится, наблюдая.

Сайлас пошёл по проходу. Шаги отдавались эхом от каменных плит. Чем ближе он подходил, тем медленнее становился шаг. Не потому что боялся. «Когда я дойду, это станет правдой. А пока я иду — она ещё жива. В моей памяти. В моей надежде».

Она лежала на алтаре.

Чёрное погребальное платье облегло её фигуру — простое, закрытое, глухой ворот до подбородка, длинные рукава. Руки были сложены на груди. На безымянном пальце — кольцо. То самое. Чужое. На подушечках пальцев запеклась кровь — не её, а шипов тех белых роз, которые кто-то вложил ей в руки перед тем, как положить сюда. Она сжимала их слишком сильно. Даже мёртвая.

Он подошёл. Остановился у алтаря и смотрел. Плащ капал дождевой водой на каменный пол. Потом протянул руку и коснулся её волос. Мягкие. Как тогда. Он гладил её по голове, как живую, и пальцы дрожали. Он не плакал. Он разучился плакать задолго до этой ночи.

Потом коснулся её шеи — там, где под кожей должна была биться жилка. Прижал два пальца. Замер. Раз. Два. Три. Тишина. Пульса не было. Только холод.

Он убрал руку.

— Прости меня, — сказал он. Голос был сухим. Тихим. «Не для неё. Для себя».

И склонился.

Поцелуй был долгим. Он коснулся её губ своими — холодных, потрескавшихся от дождя — и позволил своей крови смешаться с её. Не ритуал. Не магия. «Просто я не могу уйти. Просто я не могу оставить её здесь, в этом чёрном платье, на этом алтаре, с этим кольцом. Если она уйдёт — я уйду с ней. Если она останется — пусть останется со мной».

Кровь перетекла из его губ в её — красная нить, тонкая и прочная. Он отстранился. Ничего не произошло. Она лежала так же неподвижно. Свечи трещали. Дождь стучал по крыше. Каменный святой Марк щурился из своей ниши. Ничего.

А потом она открыла глаза.

Красные. Яркие, хищные, как два угля, разгорающихся от первого вдоха. Она смотрела на него — и не узнавала. Её грудь резко поднялась — первый вдох за много часов. Второй. Она дёрнулась, попыталась сесть, руки скользнули по алтарю. В глазах плескался ужас. Шум обрушился на неё лавиной. Она слышала, как дождь барабанит по крыше, и каждый удар был громче кузнечного молота. Она слышала, как мышь скребётся в подвале. Она слышала его дыхание — ровное, спокойное, — и удивлялась, почему он не оглох. Обострённые чувства разрывали сознание на куски. Она видела пылинки в лунном свете, трещины на статуе святого, каждую ворсинку на его плаще. Всё было слишком резким, слишком громким, слишком близким.

— Где... — голос сорвался. Чужой. Хриплый. — Что ты...

Она не договорила. Она смотрела на свои руки, на кольцо, на чёрное платье. «Я помню белое. Помню дождь за окном. Помню яд. А потом — ничего. А теперь — церковь, свечи, он. И что-то внутри меня, чего не было раньше. Что-то голодное».

— Тсс, — сказал он. Не приказ. Просьба.

Она смотрела на него, и ужас в её глазах мешался с узнаванием. Он. Тот, кого она любила. Тот, кто стоял в тени и смотрел, как она даёт клятву другому. Тот, кто не спас. И тот, кто сейчас был здесь.

— Я... умерла, — сказала она.

— Да.

— Тогда как...

— Потом. Всё потом.

Он взял её на руки. Она была лёгкой — невесомой, как сухая ветка. Чёрное платье свесилось вниз, коснулось каменных плит. Она не сопротивлялась — у неё не было сил. Она уткнулась лицом в его плечо, вдыхая запах дождя и кожи, и не понимала, почему чувствует

его так остро. «Почему я слышу, как где-то в поле, за полмили отсюда, бьётся сердце полёвки? Почему моё собственное сердце молчит, а вместо него в груди гудит что-то другое — низкое, голодное, чужое?»

Он вынес её из церкви. Дождь ударил по лицу — она зажмурилась, но не от холода. От света. Луна вышла из-за туч, и всё вокруг стало резким, ярким, болезненным. Она видела каждую трещину в надгробиях, каждую каплю на капоте чёрной машины, припаркованной у подножия холма. Ворона на кресте взмахнула крыльями и сорвалась в небо, и звук её крыльев резанул по ушам.

Сайлас открыл пассажирскую дверцу Импалы. Усадил её. Она откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и снова открыла — красные всполохи метались под веками. Он захлопнул дверцу. Обошёл машину. Сел за руль.

Двигатель взревел. Фары вспыхнули, ударили светом в стену церкви, выхватив из тьмы покосившиеся кресты и пустые могилы. Чёрная Импала развернулась и понеслась вниз по разбитой дороге, прочь от холма, прочь от алтаря, прочь от смерти.

В церкви остались только свечи. Они догорали, оплывая воском. Алтарь был пуст. На каменном полу темнели лужицы дождевой воды — следы его шагов. Дверь болталась на одной петле. Каменный святой Марк шурился из ниши, и лицо его, подсвеченное дрожащим пламенем, казалось живым. Почти живым.

А вдалеке стихал звук мотора. Низкий, зловещий, голодный — под стать тем, кто сидел внутри.

Потом и он исчез. И наступила тишина.

День пропажи

Служка пришёл на рассвете — старый горбун с трясущимися руками, которого отец Лоренцо держал при церкви Святого Марка из милости. Звали его Томас, но имени его никто не помнил, даже он сам. Он должен был подготовить алтарь к отпеванию: заменить свечи, разложить цветы, прикрыть тело белым покрывалом. Ключ повернулся в замке, дверь подалась вперёд и повисла на одной петле с глухим стоном. Вторая петля была вырвана из камня.

Томас замер. Изнутри тянуло холодом и воском. Он вошёл — и увидел пустой алтарь.

Свечи догорели до основания, залив камень белыми наплывами. На полу темнели лужи — не кровь, а дождевая вода. Следы вели от двери к алтарю и обратно. Много следов. Чьих-то больших ног. И ни одного — женского. Тела не было. Чёрного платья не было. Только кольцо — обручальное кольцо Дианы — сиротливо лежало на алтарной плите, там, где покоились её сложенные руки. Он подошёл ближе, дрожащей рукой взял кольцо, повертел в пальцах. Золото тускло блеснуло в утреннем свете. Он положил его обратно, попятился, перекрестился и побежал.

В особняке Харрисонов весть приняли в тишине — той особенной тишине, какая бывает перед грозой. Говард Харрисон выслушал служку, не перебивая. Потом велел позвать сына. Когда Ричард вошёл, отец уже стоял у окна, сцепив руки за спиной. За окном занимался серый день. На стене Верхнего города меняли факелы. Город просыпался и не знал ещё, что этой ночью в нём случилось что-то странное.

— Её украли, — сказал Говард.

— Кто? — Ричард был бледен. Он не спал всю ночь. — Кому нужно...

— Мне плевать кому. Ты понимаешь, что это значит?

Ричард не понимал. Тогда Говард повернулся и объяснил: они заплатили священнику, чтобы скрыть самоубийство. Священник оформил «внезапный недуг». Тело должны были похоронить сегодня в семейном склепе, и через неделю никто бы не вспомнил. Но теперь тела нет. Церковь ограблена. И если кто-то найдёт труп с синяками на запястьях и следами яда в крови — скандал будет такой, что не отмоются ни деньги, ни связи.

— В подвале Трибунала ты окажешься быстрее, чем успеешь прочитать «Отче наш», — отрезал Говард. — Вызывай инквизицию. И молись, чтобы они нашли того, кто это сделал. Быстрее, чем кто-то найдёт тело.

Инквизиторы прибыли к полудню. Двое. Не в красных плащах — те были для особых дел, — а в серых рясах с капюшонами, скрывающими лица. Простые пешки, но не из уличных патрулей. Эти служили в Трибунале и занимались тем, что расследовали происшествия вроде этого. Младший инквизитор по имени Рейн — молодой, старательный, ещё не научившийся задавать вопросы, на которые начальство не хочет отвечать, — возглавлял осмотр.

Он вошёл в церковь, перешагнув через выбитую дверь. Его напарник, постарше, молчаливый, с маской, потёртой на скулах, остался у входа. Рейн осмотрел алтарь. Провёл пальцем по застывшему воску. Наклонился над лужами на полу — дождевая вода, не кровь.

— Когда вы заперли дверь вечером? — спросил он.

Отец Лоренцо, вызванный из своего дома у подножия холма, мялся у входа. Руки теребили край рясы. «Деньги я уже спрятал. Главное — не сбиться. Пришёл утром, увидел, ужаснулся, сразу вызвал». Он повторял это про себя, как молитву.

— После заката. Сразу как тело... как покойную подготовили к отпеванию.

— Кто ещё знал, что тело здесь?

— Только я и две служанки. Они помогали с платьем.

— С платьем?

— Её переодели. В погребальное. Белое было... испорчено.

Рейн кивнул. Никаких эмоций. Он прошёл к алтарю, осмотрел камень. Никаких следов борьбы. Только тонкая струйка на алтарной плите — запёкшаяся кровь. Та самая, которую никто так и не смог стереть до конца. И кольцо. Он взял его, повертел в пальцах. Простое золотое кольцо, без гравировки, без герба.

— Чьё?

— Покойной, — ответил Лоренцо. — Обручальное.

— Почему не на пальце?

— Мы сняли. Перед тем как переодеть. Положили рядом. Должны были надеть обратно перед погребением...

Рейн положил кольцо в карман. Затем присел над следами на полу. Следы вели от двери к алтарю. Обратные следы — от алтаря к двери — были глубже. Как будто тот, кто уходил, нёс что-то тяжёлое.

— Девушка была больна?

Священник замялся. «Кошелёк. Они заплатили. Держись версии».

— Сердечная слабость. Внезапный недуг. Так сказала семья.

— Семья, — повторил Рейн. — Кто именно?

— Отец мужа. Господин Говард Харрисон.

— Достаточно.

Рейн выпрямился. Переглянулся с напарником. Тот кивнул — молча, без единого слова.

— Дело передаётся в Трибунал. Ожидайте дальнейших распоряжений.

Они ушли так же молча, как и пришли. Отец Лоренцо остался стоять на паперти, глядя им вслед. Дождь кончился. Солнце висело над крышами — тусклое, равнодушное. «Хватит ли денег, чтобы замолить всё это? Кажется, не хватит».

В Трибунале кипела работа — та особенная, бумажная работа, которая не спасает души, но сохраняет порядок. Сводчатые коридоры Собора гудели голосами. Где-то на верхних ярусах заседал Прелат с советниками. Где-то в крипте допрашивали еретика — приглушённый крик доносился сквозь камень. А здесь, в архиве, было тихо.

Рейн сидел за столом и заполнял протокол. Перо скрипело по бумаге. Он записал показания священника, присовокупил рапорт осмотра, приложил опись вещественных доказательств — один пункт: «Кольцо обручальное, золото, без гравировки». Папка легла на стол к старшему следователю.

Старший следователь — грузный мужчина в маске с прорезями для глаз, известный только по фамилии Грейвз, — пробежал рапорт глазами и отложил в сторону.

— Кража тела, — сказал он. — Не срочно.

— Но следы... — начал Рейн.

— Следы, дождь, дверь. Может, бродяги. Может, сам священник продал тело студентам-медикам. Может, жених пожалел, что женился, и решил вернуть товар. — Грейвз хмыкнул. — В любом случае, это не вампиры, не оборотни и не еретики. Это семейное дело. Пусть Харрисоны сами разбираются. Подшей к сорок седьмому.

Рейн кивнул и отнёс папку в архив. Там, на полке, уже лежало «Дело №47. Кража тела из церкви Святого Марка. Покойная: Диана Вуд, в замужестве Харрисон. Сердечная слабость. Причина смерти не установлена». Он положил новую папку поверх старой. «Странное совпадение. Тело украли из той же церкви, где его готовили к погребению». Но мысль эта не задержалась в голове. Мало ли странностей в Нижнем городе? Сегодня кража тела, завтра — мертвый пьяница в переулке. Работа у инквизиции не кончалась.

Он задвинул папку на полку. Свеча догорала. Город засыпал, не зная, что этой ночью охота продолжится.

Ночь трансформации

Импала остановилась у старого дренажного коллектора, вросшего в склон холма за городской чертой. Сайлас заглушил двигатель. Тишина навалилась сразу — плотная, неестественная. Даже сверчки здесь не пели. Дождь, ливший всю ночь, наконец стих, но небо оставалось серым и тяжёлым. Где-то далеко, в городе, только занимался рассвет, и служка Томас ещё не пришёл к церкви Святого Марка, ещё не увидел выбитую дверь, ещё не закричал. Всё это произойдёт через час. А пока здесь, в овраге, было тихо.

Он вышел первым, обошёл машину, открыл пассажирскую дверцу. Диана сидела неподвижно, сжимая край чёрного платья побелевшими пальцами. За те полчаса, что они ехали от церкви, она не произнесла ни слова. Только смотрела перед собой красными глазами, которые то вспыхивали, то угасали.

— Где мы? — спросила она наконец.

— Там, где тебя не найдут.

Она не ответила. Он подхватил её на руки и понёс. Она была лёгкой — как и пол часа назад, как и всегда. Только теперь он чувствовал: «Внутри этой лёгкости больше нет жизни. Только холод и пустота».

Внутри горела одна свеча. Каменные стены, низкий потолок, старый матрас на полу, стол из досок, пара стульев. На стене — полка с книгами. Ничего лишнего. Место, которое не должно было стать домом, но стало. Сайлас опустил её на матрас, но она не легла — осталась сидеть, обхватив колени руками. Её знобило, хотя холода она не чувствовала.

— Что ты со мной сделал? — спросила она.

— Вернул.

— Я умерла. Я помню. Я выпила яд, и всё кончилось. А теперь я... — Она запнулась.
— Я не дышу.

— Дышишь. Просто тебе больше не нужно.

Она провела рукой по груди. «Сердце молчит».

— Кто я теперь?

Он не ответил. Потому что ответ был слишком тяжёлым, чтобы произнести его вслух. Вместо этого он подошёл к столу, взял старую кружку, плеснул в неё воды из кувшина. Протянул ей. Она посмотрела на воду и отвлеклась — не потому что хотела пить. А потому что услышала, как вода плещется о стенки кружки. Этот звук был громче, чем должен был быть. Она слышала каждую каплю.

— Почему всё так громко? — прошептала она.

— Ты теперь слышишь иначе.

— Что ещё я теперь делаю иначе?

Он не успел ответить.

Боль пришла не сразу. Сперва — жжение в дёснах. Она коснулась пальцами верхней челюсти и отдёрнула руку: что-то острое резануло подушечку. Дёсны распухали, трескались, из них медленно выходили клыки — тонкие, хищные, чужие. Она закричала.

Сайлас был рядом через секунду. Сел на край матраса. Не держал — просто смотрел. Он знал, что эту боль нельзя убрать. Можно только переждать. «За свою долгую жизнь я видел это не раз. Пробуждение старой крови всегда мучительно. Тело смертного перестраивается, пытаюсь вместить то, для чего не было создано. Я сам не проходил через это — я родился Первым, в те времена, когда наш народ ещё жил под звёздами. Но я видел. И помнил. И сейчас, глядя на неё, я снова вижу, как хрупкая человеческая плоть разрывается, впуская в себя древнюю кровь».

Тело начало перестраиваться.

Мышцы скручивало судорогами. Спина выгнулась дугой. Пальцы скрючились, разрывая чёрную ткань платья. Она упала на спину, забилась на матрасе, и каждый нерв в её теле кричал о том, что оно больше не человеческое. Внутренние органы перестраивались — она чувствовала это как движение внутри, как будто что-то живое ворочалось под кожей. Кожа становилась чувствительной до невозможности — даже прикосновение воздуха жгло, как кислота.

Она кричала. Кричала без слов, без имени, без надежды. Клыки прорезались до конца, по губам потекла кровь — её собственная, первая, которую она почувствовала на вкус. Медная. Солёная. Живая.

Сайлас протянул руку и положил ладонь ей на лоб.

Это было единственное, что она могла вытерпеть. Единственное прикосновение, которое не обжигало. Она вцепилась в его руку, сжала до хруста, и он не отдёрнул. Он просто сидел и смотрел — ждал, пока ад кончится.

Прошёл час. Может, два. Время в этом каменном мешке не имело значения. Свеча на столе догорела наполовину. Снаружи, должно быть, уже наступил день — тот самый, когда Томас нашёл пустую церковь, когда Рейн осматривал алтарь, когда Грейвз подшивал дело №47. Но здесь, в овраге, об этом никто не знал.

Судороги отступили. Боль ушла — не постепенно, а резко. Как будто кто-то отпустил тиски. Она лежала на спине, мокрая от пота, дрожащая. Чёрное платье было разорвано у ворота и на груди — она сама не заметила, как. Глаза смотрели в потолок. Красные. Уже не чужие.

Она облизала губы. Почувствовала клыки. Провела языком по ним — медленно, как пробуют оружие.

И почувствовала голод.

Не тот голод, что был при жизни. Не желание поесть. Другое. Что-то тянущее, ноющее, голодное до дрожи. Оно шло не из желудка — из каждой клетки. Из каждого нерва, который теперь слышал слишком много. Она села. Посмотрела на свои руки. Пальцы были бледными, но сильными. Она сжала их в кулак — и почувствовала, как легко могла бы сейчас сломать кость. Не свою. Чужую.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.